

автор бестселлера отбарабанивал свои речи на морских и грязевых курортах и водолечебницах. Горечь славы стянула его губы в тоненькую скорбную полоску, а глаза сделала тусклыми. Когда курорты начали готовиться к зиме, лицо его стало совсем желтым. А тут как раз подоспела и осенняя книжная ярмарка.

Осенняя продажа книг была в самом разгаре, многие читатели сообщали своим книготорговцам, что к рождеству хотели бы приобрести «Смерть запаздывает». Молодому писателю пришлось снова отправиться в странствие. Покорившись судьбе, он поехал в те же города, читал те же главы, перед теми же аудиториями, что и год назад; никто этого не заметил. Ему уже не нужно было заглядывать в книгу, он давно читал наизусть. Но голос его стал вялым и хриплым, руки дрожали, несколько раз он едва не уснул, хотя уполномоченный перед каждым выступлением давал ему очень хорошие таблетки «Ариольд, не спи». В его папке всегда лежал лист бумаги, на котором была начертана полная надежд фраза, первая фраза его второй книги.

Незадолго до рождества он снова приехал в свой родной городок. И здесь случилось нечто ужасное. Он читал, как всегда — устало, хрипло, монотонно. Но вдруг дико закричал, разорвал свой роман, первую страницу второго и избил уполномоченного. В зале возникла паника. Он кричал громче всех, разбил стакан и швырнул стулом в люстру. Полиция была вынуждена надеть на него смиренную рубашку и отвезти в сумасшедший дом, где, как говорят, он дней через пять пришел в себя.

В рождественской статье одного весьма популярного журнала должна была появиться длинная статья, в которой «Смерть запаздывает» разносили в пух и прах, не оставляя от романа буквально камня на камне, а повальное увлечение этой книгой характеризовалось как величайшее заблуждение, типичная ошибка нашего времени. Но когда в журнале узнали о судьбе молодого автора, статью уничтожили и по совету уполномоченного заказали другую, в которой давалась благожелательная оценка второго романа, еще не имевшего названия. О болезни писателя говорилось лишь вскользь. Ответственный редактор не поленился сам поехать в сумасшедший дом, чтобы лично показать злополучному автору замечательную статью, к которой была приложена его фотография лучших времен. Больной прочитал статью совершенно спокойно. Потом вернул журнал, улыбнулся печально, но непринужденно и сказал: «Ведь вы могли бы меня...» Редактор не дал ему договорить, откашлялся и ободряюще хлопнул по плечу, после чего распрощался. В следующем номере своего журнала он в трогательных выражениях описал посещение этого, увы, действительно неизлечимого больного. Число подписчиков журнала сразу возросло на несколько тысяч.

Роман «Смерть запаздывает» был распродан еще раз. Но потом, вопреки расчетам издательства, целый тираж остался лежать на складах. Дело в том, что другой молодой автор успел за это время издать роман «Смерти вход воспрещен», который будил в людях надежду на земное бессмертие. С тех пор роман «Смерть запаздывает» оказался в забвении. Бедный больной и поныне живет в сумасшедшем доме. Говорят, он чувствует себя там совсем неплохо — как физически, так и морально.

Перевод с немецкого И. МЛЕЧИНОЙ

РОМЕН ГАРИ



Передо мной расстилалась Аризонская пустыня со своими терновниками и колючками — жалкая растительность и иссохшая земля. Такой ландшафт вполне соответствует моему возрасту, душевному состоянию и настроению. Но как раз под влиянием этого скудного и бесплодного ландшафта я имел неосторожность рассказать жене случай из своего далекого прошлого. Одним словом, я дал волю ностальгии и, быть может, определенному возмущению против признаков старости на моих висках и в моем сердце.

Я ЕМ БОТИНОК

Короче говоря, я принялся рассказывать жене историю своей первой любви.

Я заявляю, право же не хвастая, что в девятилетнем возрасте, подобно самым великим влюбленным всех времен, совершил ради своей возлюбленной поступок, которому, насколько мне известно, не было равного. Я съел, чтобы доказать ей свою любовь, ботинок на резиновой подошве.

Уже не первый раз я съедал ради нее всякие предметы.

За неделю до того я съел целую серию баварских марок, которые с этой целью украл у дедушки, а за две недели до того, в день нашей первой встречи, я съел дюжину земляных червей и шесть бабочек.

Теперь следует объясниться.

Я знаю, когда речь заходит о любовных подвигах, мужчины всегда склонны к бахвальству. Послушать их, так их отвага не знала границ. И попробуйте усомниться — они не поступятся ни единой мелочью. Вот почему я и не прошу верить тому, что помимо этого я съел ради своей возлюбленной японский веер, пять метров шерстяной нитки, фунт вишневых косточек (она ела вишни, а мне протягивала косточки), а также трех редких рыбок, которых мы поймали в аквариуме ее учителя музыки.

Моей маленькой подруге было только восемь лет, но требовательность ее была огромна. Она бежала передо мной по аллеям парка и указывала пальцем то на кучу листьев, то на гравий, то на клочок газеты, валявшийся под ногами, и я безропотно повиновался. Помнится, она вдруг стала собирать маргаритки, и я с ужасом смотрел, как букет рос у нее в руках; но я съел и маргаритки под ее неусыпным взором, в котором тщетно пытался найти огонек восхищения. Никак не проявив благодарности, она убежала вприпрыжку, а через некоторое время вернулась с полдюжиной улиток и протянула их мне повелительным жестом. Тогда мы спрятались в кустах, чтобы нас не увидели гувернантки, и мне пришлось повиноваться — улитки проследовали положенным путем; все это я проделал под ее недоверчивым взглядом, так что о мошенничестве не могло быть и речи.



В то время детей еще не посвящали в тайны любви, и я был уверен, что поступаю, как принято. Впрочем, я и сегодня еще не убежден, что был неправ. Ведь я старался как мог. И, наверное, именно этой восхитительной Мессалине я обязан своим воспитанием чувств.

Самое грустное заключалось в том, что я ничем не мог ее удивить. Едва я покончил с маргаритками и улитками, как она проговорила задумчиво:

— Жан-Пьер съел для меня пятьдесят мух и остановился только потому, что мама позвала его к чаю.

Я содрогнулся.

Я чувствовал, что готов съесть для Валентины — именно так ее звали — пятьдесят мух, но я не мог вынести мысли, что, стоит мне отвернуться, как она обманывает меня с моим лучшим другом. Однако я проглотил и это. Я начинал привыкать.

— Можно, я поцелую тебя?

— Ладно. Но не слюнявь мне щеку, я этого не люблю.

Я поцеловал ее, стараясь не слюнявить щеку. Мы стали на колени за кустами, и я целовал ее еще и еще. А она крутила серсо вокруг пальца.

— Сколько уже?

— Восемьдесят семь. Можно поцеловать тебя тысячу раз?

— Ладно. Только поскорее. Это сколько — тысяча?

— Я не знаю. Можно, я тебя и в плечо поцелую?

— Ладно.



Я поцеловал ее и в плечо. Но все это было не то. Я чувствовал, что должно быть еще что-то, мне неизвестное, но самое главное. Сердце у меня отчаянно колотилось, я целовал ее в нос и волосы и чувствовал, что этого недостаточно, что нужно что-то большее; наконец, потеряв голову от любви, я сел в траву и снял ботинок.

— Я могу съесть его ради тебя, если хочешь.

Она положила серсо на землю и присела на корточки. Я заметил в ее глазах огонек восхищения. Большого я не желал. Я взял перочинный ножик и начал резать ботинок. Она глядела на меня.

— Ты будешь есть его сырым?

— Да.

Я проглотил кусок, за ним другой. Под ее восхищенным взглядом я чувствовал себя настоящим мужчиной. Отрезав следующий кусок, я глубоко вздохнул и проглотил его; я продолжал этим заниматься до тех пор, пока сзади не раздался крик моей гувернантки и она не вырвала ботинка у меня из рук. Мне было очень плохо в ту ночь, и, поскольку пришлось выкачивать содержимое моего желудка, все доказательства моей любви, одно за другим, предстали перед взором родителей.

Вот какими воспоминаниями я поделился с женой, сидя на террасе нашего дома в Аризоне и глядя на скудный ландшафт пустыни, словно с приближением шестого десятка я ощутил вдруг неодолимую потребность оживить в памяти свежесть давно минувшей юности. Жена выслушала мой рассказ молча, но я заметил на ее лице мечтательное выражение, показавшееся мне странным. С тех пор она почему-то резко переменяла отношение ко мне. Она почти со мной не разговаривала. Быть может, я поступил нетактично, рассказав ей о своих прошлых увлечениях, но на склоне дней, после тридцати лет совместной жизни, мне кажется, я заслуживал снисхождения.

Встречая ее взгляд, я читал в нем упрек и даже страдание, а порою глаза ее наполнялись слезами. Через несколько дней после нашего разговора она слегла. Она отказалась от врача и лишь смотрела на меня негодующим взглядом. Она лежала у себя в комнате, с большой грелкой, свернувшись в клубок; когда я входил, она бросала на меня оскорбленный взгляд и поворачивалась спиной, так что мне оставалось лишь смотреть на седые завитки у нее над ухом. К тому времени обе наши дочери уже вышли замуж и мы жили вдвоем. Я, как призрак, бродил из комнаты в комнату. Я позвонил старшей дочери в надежде хоть от нее узнать, в чем же я провинился,— дело в том, что моя жена и старшая дочь ежедневно целый час обсуждали по телефону мои недостатки. Но на этот раз дочь не была в курсе дела. По этому поводу она слышала от матери лишь ничем не примечательную на первый взгляд фразу:

— Твой отец никогда меня по-настоящему не любил.

■

Я сошел на террасу, тяжело опустился в кресло и принялся размышлять. Я глядел на расстилавшийся передо мною ландшафт, с его кактусами, бесплодной землей и потухшими вулканами, и не спеша, тщательно проверял свою совесть. Потом я вздохнул. Поднялся, пошел в гараж и сел в машину. Я отправился в Скоттсдейл и вошел в магазин «Джон и К°».

— Мне нужна,— сказал я,— пара ботинок на резиновой подошве. Что-нибудь полегче. Для мальчика девяти лет.

Я взял сверток и поехал домой. Затем прошел на кухню и добрых полчаса кипятил ботинки. Затем я поставил их на тарелку и решительным шагом вошел в комнату жены. Она бросила на меня печальный взгляд, в котором вдруг зажглось удивление. Она приподнялась на постели. Глаза ее засверкали надеждой. Торжественным жестом я вынул из кармана перочинный ножик и сел у нее в ногах. Потом взял ботинок и принялся за него. Проглотив кусок, я бросил патетический взгляд на жену: в конце концов, мой желудок был уже не тот, что в те, давние, времена. Во взоре жены я прочел лишь величайшее удовлетворение. Я закрыл глаза и продолжал жевать с мрачной решимостью не поддаваться бегу времени, седине и старческой немощи. Я говорил себе, что, собственно, нет никаких оснований склонять голову перед недомоганиями, слабостью сердца и всем прочим, что связано с возрастом. Я проглотил еще кусок. Я не слышал, как жена взяла у меня из рук перочинный ножик. Но открыв глаза, я увидел, что в руках у нее второй ботинок и она принимается уже за второй кусок. Она улыбнулась мне сквозь слезы. Я взял ее руку, и мы долго сидели так в сумерках, глядя на пару детских ботинок, которые стояли перед нами на тарелке.

Перевод с французского В. КОЗОВОГО